

М. А.
КУЗМИН

Избранное



Михаил Алексеевич Кузмин

Парнасские заросли

Серия «Заметки о литературе», книга 4

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=311562

Михаил Кузмин «Стихи и проза»: Современник; Москва; 1989

Аннотация

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу». При общей цельности эстетических взглядов Кузмина можно заметить, что они меняются и развиваются по мере того, как те или иные явления становятся историей. Так, определенную эволюцию претерпевают взгляды Кузмина на искусство символическое, которое он в 20-е гг. осмысляет более широко и более позитивно, чем в статьях 10-х гг. Несомненно, что война 1914 г.

усилила в нем его «франкофильство» и отрицание немецкой культуры как культуры «большого стиля». Более многогранно и гибко он оценивает в 20-е гг. Анатоля Франса как типичного представителя латинской культуры. Мы предлагаем вниманию читателя несколько статей разных периодов, отчасти собранных в сборнике «Условности». Остальные статьи – из различных альманахов, журналов и сборников

Михаил Кузмин

Парнасские заросли

Английский путешественник Фома Корбэт, чтобы издать свое занятное путешествие, должен был выпросить у целого ряда знаменитых и не знаменитых поэтов стихотворных похвал этой книге.

Тут были произведения Бен-Джонсона, Дрейтона, Джона Донна и Джорджа Чепмана, были оды, сонеты, эпиграммы, акrostихи, по-английски, по-гречески, по латыни, на языке макароническом и даже «утопическом», соответствовавшем нашему заумному. Только с такими поэтическими окружениями странствия его нашли издателя, потому что английская публика 1611 года самый ничтожный сборник стихов, хотя бы по-гречески, хотя бы на никому не понятном утопическом языке, предпочитала даже очень занятой английской прозе.

Литературные пристрастия повторяются капризно, едва ли доступны какой-нибудь регуляции, и русская публика последних лет вдруг (вероятно, для самой себя неожиданно) уподобилась елизаветинским англичанам.

Стихомания расцвела пышно, несмотря на неурядицы, на недостатки бумаги, на типографские цены, несмотря ни на что, книги, книжечки, книжонки, брошюры, листовки, написанные стихами, выходили. Не выходили временно печатные

– выходили рукописные, устраивались словесные «альманахи и сборники».

Поэтические студии начали считаться необходимою принадлежностью самых неожиданных учреждений. Я не уверен, что таковых не существовало при пожарных командах и домах для умалишенных. В Москве, этом испытанном очаге всяческих словопрений и идеологий, каждый день провозглашались новые поэтические школы. Провинция не отставала. В Петербурге школ новых не обнаруживалось, но новых поэтов выступило не меньше, чем везде. Подобное увлечение стихотворством почти сравнялось с театральной эпидемией, при которой одно время в Петербурге число играющих граждан превосходило количество неиграющих. Напрасно Б. Эйхенбаум три или четыре года тому назад предсказывал близкое преобладание прозы, пророчество это покуда не исполнилось. Парнас зарос и продолжает зарастать. «Побеги трав»? Конечно, есть и побеги трав, но есть и такие растения, которым еще долго следовало бы сидеть под землею, встречаются также экземпляры молодые, но уже из гербария студий, которые едва ли можно вернуть к жизненной свежести. Всю эту обильную флору вызвало на свет Божий солнце спроса. Покуда будет спрос, будет и предложение; когда же спрос прекратится, поэзия, конечно, не пострадает, но производство стихов уменьшится. Причем в данном случае более чем где бы то ни было уместна аналогия с изречением, что «всякий народ имеет ту форму правления, которой

заслуживает». Современный поэтический спрос удовлетворяется именно таким образом, как он этого заслуживает. И если увлечение публики направлено исключительно на стихотворную форму, только эту форму ему и предлагают. Форма же дело наживное, студий у нас много. Выучиться писать стихи может всякий, у кого достаточно свободного времени, упрямства и честолюбия. Три качества, свойственные скорее женщинам, – а, действительно, поэтесс у нас не меньше, если не больше, чем поэтов.

Не легко разобраться в этих зарослях, отчасти диких, отчасти насаженных вроде питомника, тем более что из-за всяких лопухов порой не разглядишь иного молодого растеньица, которое, взятое отдельно, имело бы полное право на внимание, слабое, но новое своею милою жизненностью. Самое естественное было бы рассматривать каждого поэта отдельно, но, во-первых, в общей среде это неисполнимо, во-вторых, сами поэты выступают и утверждают себя если не стадами, то известными (часто случайными, почти районными) группами. Но и по группам разбирать весь этот парнасский рой, при всей готовности, нелегко. Разбирать ли их по школам, часто иллюзорным, по городам, по издательствам, по адресам, по личному их между собой знакомству? Все эти подразделения, пригодные в равной мере для известной характеристики, необязательны и неточны. Причем, я думаю, сами же «цех поэтов», «вольное содружество поэтов», «пролетарские поэты» удивились бы, если б их приняли за лите-

ратурное течение: звание поэта из цеха звучит не более определенно, чем «едок Дома литераторов».

Также ни для кого не тайна, что поэты перерастают даже такие почтенные и явно литературные школы, как символизм, футуризм и, пожалуй, имажинизм. Для всех Сологуб – Сологуб, и уж потом где-то в закоулках памяти – символист, Маяковский – Маяковский, Есенин, Клюев и Ивнев – сами по себе, я даже не знаю, к какой школе при быстрой смене ориентации они себя приписывают. Но, конечно, Эрберг – символист, Крученых – футурист, Мариенгоф – имажинист, потому что отнимите у них значение школы, и они потеряют всякий смысл. Такая же не органическая, а выдуманная и насильственная школа, как акмеизм, с самого рождения лезла по швам, соединяя несоединимых Гумилева, Ахматову, Мандельштама и Зенкевича.

Мне лично удобнее всего разбираться, не считая отдельных поэтов или одиночных поэтических событий, по признакам, применительным ко всем школам и районам: по присутствию своего лирического содержания, по специально взятой теме или по исключительно техническим задачам и исканиям.

За последние годы событий в поэзии, не считая сделавшегося всемирным событием появления «Двенадцати» А. Блока, последнего обострения и фокуса его таланта, немного: «Мистерия-Буфф» (к которой можно присоединить и «Сто пятьдесят миллионов») Маяковского, необыкновенная по-

пулярность Ахматовой и выступление Анны Радловой.

Имя Маяковского, я думаю, теперь никого не пугает, с тех пор как он вырос из чемпиона футуризма, официального революционера и добровольного пугала – в поэта Маяковского. Но признание позволяет и лучше рассмотреть его чисто поэтические свойства. Богатая изобретательность в области риторических образов, ораторский темперамент и чувство ритма (но не чувство слова, как у Хлебникова), долгое дыхание и внутренняя сентиментальность покуда отличительные черты этого выдающегося поэта. Но мне кажется, что первый круг его творчества близок к концу. И «150 000 000», равно как и «Мистерия-Буфф», оживлены только введением в них приемов сатирических листков, замаскированных псевдорусской манерой раешников. Впрочем, это не противоречит традиции политических памфлетов. Изобретательность и блеск площадного зубоскальства (без всякого уничижения такого сорта остроумия) не всегда отвлекают внимание от того обстоятельства, что содержание этих вещей по своему весу далеко не соответствует их «планетарным» размерам и претензиям. Покуда все-таки самым совершенным из произведений Маяковского остается «Человек», не произведший такого шума. Неожиданно обнаружилось, что из большинства строчек «Миллионов», если их напечатать нормально, получится размер кольцовский. Да пожалуй, и не только размер. Примечательные постановки «Мистерии» и необыкновенный успех поэмы выделили их в события, даже невзирая

на события не поэтического порядка, владевшие всеобщим вниманием.

Вторым событием, если не чисто поэтическим, то, во всяком случае, из области поэтических увлечений, является необычайная популярность Ахматовой. Конечно, прекрасная и печальная поэтесса давно пользовалась заслуженною известностью, но теперь сделалась любимицей публики. Может быть, случайно совпало это со смертью Блока. Дело идет не о какой-нибудь замене или измене, но очевидно, сердце, даже коллективное, боится пустоты. Конечно, ни вины, ни заслуги самой Ахматовой в этом обожании нет, но есть опасность, или, вернее, может оказаться таковая. Публика ленива и требует от своих любимцев повторений и перепевов, которые всегда знаменуют застой, и, следовательно, и смерть творчества. В последней книжке «Anno Domini» (я не буду говорить о «Подорожнике», целиком вошедшем в «Anno Domini») Ахматова осталась на высоте предыдущих книг, покуда не сдвигаясь в сторону. И хотя некоторые, стихотворения несколько предвещают новый путь, встречаются, к сожалению, и повторения излюбленных тем и приемов, не знаю, бессознательные ли. Издавна любя острый и волнующий талант Ахматовой, я позволяю себе напомнить об опасностях и тягостях доставшегося ей положения. Общество везде лениво и не любит перемен в своих любимцах, русское же общество, кроме того, и неблагодарно.

«Они любить умеют только мертвых». Но, кажется, с пуш-

кинских времен, может быть, под влиянием некоторых положений футуризма, пришедшихся как раз по плечу нашей публике, у нас и это умение начинает утрачиваться. Литературные поминки по А. Блоку доказывают это.

Третьим поэтическим событием я считаю выступление Анны Радловой («Корабли»). Я имел случай уже высказываться как по поводу этой книги, так и относительно первого сборника того же автора. Кроме того, я имею счастье знать стихи, написанные после «Кораблей», которые, вероятно, в скором времени будут изданы. Быстрый и органический рост подлинного дарования Радловой очевиден для всякого непредубежденного человека. Противодействия этому оригинальному и единоличному началу со стороны разных «поэтических» организаций, приемы, отнюдь не поэтические, борьбы только подчеркнули значительность этого явления. Не прощали Радловой и того, что она не являлась атомом какой-нибудь ячейки, и того, что она не сидела у ног студийных учителей, и того, что современность слишком патетично и глубоко отразилась в ее стихах, не прощали ей лирического восторга, свободного стиха, рифм «кровь» и «любовь», вплоть до ее наружности. Конечно, главным образом не прощалось выступление незарегистрированное и несомненная подлинность ее таланта.

Некоторый шум лопнувшей петарды произвел сборник Ел. Полонской «Знаменья». Но мне кажется, что этот шум, полезный, может быть, для распространения книги, при-

влекши внимание к нескольким неприятным и слабым пьесам, помешал разглядеть действительные достоинства сборника, написанного коряво, не по-русски, часто несамостоятельно, но имеющего известную лирическую напряженность и тон.

Из известных поэтов, проживающих в Москве, выпустили сборники В. Брюсов, Р. Ивнев, С. Есенин и Клюев. «Последние мечты» и «Миг» Брюсова исполнены искреннего, почти наивного лиризма, редко встречающегося у этого писателя. Особенно неожиданно и радостно это было после предшествовавших книг, в частности, после опрометчиво обнародованных «Опытов», на основании которых можно было предположить, что автор всецело уйдет в область педантической, детской и несколько комичной формалистики.

Р. Ивнев и С. Есенин крепнут и расширяются, не меняя своей сущности с переходом в разные школы.

Из ряда единоличных и коллективных листовок можно запомнить стихи Кусикова и Буданцева.

Подражательная ловкость Шершеневича не без успеха эксплуатирует на этот раз приемы и словарь Маяковского.

В Москве же находится достойная всяческого внимания Марина Цветаева, но книг ее, насколько я знаю, не вышло, равно как не появилось виртуозных, несколько холодных произведений Б. Пастернака.

Ничего, к сожалению, не слышно и о новых книгах Вячеслава Иванова, может быть, и вышедших на Кавказе.

Прекрасный и одинокий поэт Сологуб выпустил четыре книги стихов, в которых еще яснее заметно то просветление и умиротворяющая личность, что начались уже с «Очарования земли». Я имею в виду главным образом «Фимиамы» и «Одну любовь». Попадающиеся в них демонизмы и невинное богоборство звучат уже отголосками давно пройденной стадии и отчасти нарушают сладостную и сумеречную тишину последних книг.

Промелькнувший таинственным оборотнем А. Белый сделал событие главным образом своей «Эпопеей», которую можно было бы назвать «Слезное позорище борьбы создателя и разъединившихся составов или наглядный опыт подмены органического создания механическими ухищрениями», но и в поэме «Последнее свидание», несмотря на великолепные строчки, лабораторная сторона модных опытов так выставлена напоказ, что может оказаться куда зловреднее, чем ребяческие «опыты» Брюсова.

Только к концу замечаю, что совсем упустил из виду самим же мною предложенные деления. Воспользуюсь ими хотя бы теперь. Из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича «Чистилище» и И. Оксенова «Роща».

Узко взятая тема материнства не спасает книги Шкапской «Mater dolorosa», где искренние, может быть, но совершенно беспомощные и банальные стихи не доходят еще до области искусства.

Темой же, пожалуй, можно объяснить и некоторый облик стихов Вс. Рождественского («Лето» и «Золотое веретено»). Но выучка и какая-то лакированность стиха не дают заметить за ними лирического веяния, которое, может быть, и есть там.

Формальная (и своя) прелесть книги Г. Иванова «Сады» так очевидна, что даже крошечную элегичность и слабенькую сладость готов принять за формальность.

Не думаю, чтобы насильственная фантазия и полнейшая безответственность механического воображения могли считаться за какую-либо тему или своеобразность. Между тем у И. Одоевцевой, кроме этих свойств и легкого письма – ничего нет. Притом и самый метод диванного мифотворчества и высасыванья из пальца фантастики применялся и рекомендовался уже Гумилевым. Попытки повторить ахматовские штампы у Одоевцевой не удаются.

Книги Оцупа и Нельдихена мне представляются чисто упражнением в модных приемах, часто (особенно у первого) занятыми и ловкими.

Пролетарские поэты, будучи связаны самим кругом тем, обуславливающим смысл их объединения, принуждены вращаться в недостаточно новой и давно использованной области. Тем труднее тут выделиться индивидуальностям и тем приятнее отметить сборники Садофьева и Бердникова. М. Лозинский, Пяст, Вл. Ходасевич, М. Шагинян и Верховский новых сборников не обнародовали.

Имея случай слышать неизданные стихи, я беру на себя нескромность высказать некоторые соображения. Среди беспретпетных стихотворных упражнений поэтический ток узнается по какой-то дрожи в голове (не буквально, конечно), по неловкости движений подростка. И тут надеешься и любишь. И кажется мне, что настоящий поэт зреет в К. Вагинове, что свой лиризм и круг тем виден у С. Колбасьева, останавливает внимание на себе дикарская инструментовка некоторых поэм Волкова и чисто девическая песенность Раисы Блох.

У поэзии, как у истории, возможно колесо. Вернее, у литературы. И я тоже думаю, что скоро оно повернется в сторону прозы. Печально только то, что предусмотрительные люди уже теперь нацеливаются, как бы уцепиться за это колесо. И опять организации, общества, скоп и стадо. Искусство, конечно, от этого не пострадает, но перспективы, оценки, свободные дороги загромоздятся и спутаются. Впрочем, я ни в каком случае не считаю себя предсказателем.

1922. Март.

Р. S. Хотя прошло со времени написания этой заметки полгода и вышло немало стихотворных сборников, положение дел мало изменилось. Прекрасная книга Анны Радловой «Крылатый гость», стихи Б. Пастернака «Сестра моя жизнь» и еще лучший цикл его стихотворений «Разрыв», помещенный в московском альманахе «Современники», на глазах

развивающееся дарование К. Вагинова – только утверждают
меня в прежнем мнении.

1922. Сентябрь